# П.Е. АННЕНКОВА

## ЗАПИСКИ ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТА

По мере того, как я удалялась от Москвы, мне становилось все грустнее и грустнее, в эту минуту чувство матери заглушало все другое, и слезы душили меня при мысли о ребенке, которого я покидала.
Меня провожали два человека, выбранные мною еще заранее из многочисленной дворни Анны Ивановны. Один из них был тот Степан, который сопровождал меня всюду и которого я очень любила, тем более, что он служил мне переводчиком, другой — Андрей, которого мне почти насильно навязали. Несмотря на то, что Андрей старался мне угодить всем и прислуживать с большою предупредительностью, я ему не доверяла, но принуждена была, однако ж, взять его с собою, так как третий, Михаила, который сначала было согласился сопровождать меня, потом отказался, а Андрей сам предлагал услуги свои, и кормилица девочки моей за него очень ходатайствовала.
Подорожную, за которую я заплатила 400 рублей 80 коп. (конечно, ассигнации), выдали мне в Москве только до Иркутска, так что мне не было известно — куда далее я должна буду ехать, и только в Иркутске узнала я, что именно в Читу.
До Казани добралась я с трудом, потому что, не имея понятия о зимних дорогах, не умела выбрать экипажа, а купленный мною в Москве оказался слишком тяжел.
В Казани, на мое счастье, были две тетки Ивана Александровича, у которых я и остановилась. Они приняли во мне большое участие и помогли запастись теплым платьем на дорогу, а также выменять мой тяжелый возок на две купеческие повозки, крытые рогожами. Эти экипажи были так легки и так прочны, что нисколько нас не задерживали, лошади точно летели. Правда, что и дороги были бесподобные; наконец, моей быстрой езде много способствовал бланк, выданный Давыдовым, начальником всех сибирских почт, по просьбе одной из почтенных тетушек Анненкова в Казани.
Из этого города выехала я 4 января 1828 года в 12 часов и была в Перми шестого. Везде, где я ни появлялась, все изумлялись — с какой быстротою я ехала. Мне самой непонятно теперь, как могла я выносить такую быструю езду при таком ужасном холоде, какой был в ту зиму.
Из Москвы до Иркутска я доехала в 18 дней и потом узнала, что так ездят только фельдъегеря. Зато однажды меня едва не убили лошади, а в другой раз я чуть-чуть не отморозила себе все лицо, и если бы на станции не помогла мне дочь смотрителя, то я, наверное, не была бы в состоянии продолжать путь. Эта девушка не дала мне взойти в комнату, вытолкнула на улицу, потом побежала, принесла снегу в тарелку и заставила тереть лицо, тут я только догадалась — в чем дело.
В этот день было 37° мороза, люди тоже оттирали себе лица и конечности, и мы мчались снова.
Выезжая из Перми, я заметила, что нам заложили каких-то необыкновенных маленьких лошадей (башкирских), но таких бойких, что они не стояли на месте. Между тем повозку мою тщательно закупорили от холода и крепко застегнули фартук. Степан сидел на козлах, Андрей ехал в другой повозке, ямщик был молодой мальчик; я стала наблюдать, что он все греет себе руки, заложив вожжи под себя. Вдруг лошади, почуя, что ямщик распустил вожжи, помчались с необыкновенною силою, мигом сбросив ямщика и человека с козел. Постромки у пристяжных оборвались, и осталась одна коренная, которая, спускаясь с пригорка, упала, повозка полетела вместе с нею и опрокинулась; тогда все чемоданы, уложенные в повозке, свалились на меня. Со мной была неизменная моя собака (Ком), она страшно выла, и я начинала буквально задыхаться, когда услышала шаги около повозки и увидала человека, тогда я стала просить помочь мне поскорее; человек этот, вероятно, был очень силен, потому что не затруднился поднять повозку и поставить ее на полозья. Я увидела перед собою башкирца, который ни слова не говорил по-русски; мы смотрели друг на друга с недоумением. Я второпях, не подумав о том, что делаю, движимая чувством признательности к человеку, спасшему мне жизнь, вынула свой портфель, довольно туго набитый, и подала ему 25-рублевую ассигнацию; но, оглянувшись, спохватилась, что мы были с ним одни с глазу на глаз в дремучем лесу; воздух был так густ, что кругом ничего не было видно; так мы простояли целый час с моим спасителем. Он ехал с возом соломы, когда увидал меня в опасности и подоспел на помощь. Через час я услышала какой-то непонятный для меня в то время шум, но впоследствии слишком знакомый. Шум этот происходил от оков, в которых подвигалась целая партия закованных людей, — иные были даже прикованы к железной палке Вид этих несчастных был ужасен. Чтобы сохранить лица от мороза, на них висели какие-то грязные тряпки с прорезанными дырочками для глаз.
Наконец, я увидела и моих людей; другую повозку лошади тоже понесли, ямщик, как и мой, тоже свалился с козел, а лошади примчались на следующую станцию, с которой уже люди возвращались, разыскивая меня. Станция находилась в трех верстах; мы скоро добрались до нее, отдохнули и, оправившись от испуга, продолжали путь.
Совершив переезд через Уральский хребет, мы достигли Екатеринбурга. Здесь люди мои потребовали остановки, чтобы отдохнуть, в чем по справедливости я не могла им отказать и в чем сама также очень нуждалась.
Недалеко от Екатеринбурга нас чуть-чуть не остановили какие-то люди, вероятно, не с добрым намерением; из лесу выехало человек пять или шесть верхом и закричали на нас «стой!». Но ямщики наши не оробели, погнали лошадей с криком и свистом, отвечая, что едут не купцы, и мы ускакали.
В Барабинской степи, чтобы как-нибудь заставить меня выйти из экипажа, Степан на одной из станций убеждал меня зайти посмотреть на красавицу. А так как я часто высказывала, что в России мало красивых женщин, то Степан действительно подстрекнул мое любопытство.
Я зашла в комнату и была поражена, увидев девушку лет 18, которая сидела за занавескою и пряла. Это была раскольница, и замечательно красивая.
В Томск приехали мы в воскресенье рано утром и остановились на день. Я воспользовалась остановкою, чтобы сходить к обедне, и встретила в церкви двух сенаторов: Безродного и кн. Куракина, которые производили тогда в Сибири ревизию.
Между Томском и Красноярском на одной из станций я встретила молодого человека с фельдъегерем. Это был Корнилович, отправленный сначала вместе с другими в Читинский острог. Теперь фельдъегерь, который год спустя после того, как были отправлены все декабристы в Сибирь, привез Вадковского в Читу, вез обратно Корниловича в Петропавловскую крепость, как я узнала потом. Позднее из Петропавловской крепости Корнилович был отправлен на службу на Кавказ, где вскоре скончался. Фельдъегерь, везший Корниловича, был гораздо человечнее, чем тот, который вез Ивана Александровича Анненкова с товарищами, так что при встрече со мною Корнилович был без оков, о чем, впрочем, он очень просил меня не говорить коменданту Читы Лепарскому.
В Красноярске Степан и Андрей доказывали мне, что необходимо починить полозья у экипажей, но я более не хотела останавливаться и, - несмотря на их уверения, что полозья не дойдут до Иркутска, доехала благополучно.
Вопреки уверениям Александра Дюма, который в своем романе - «», говорит, что целая стая волков сопровождала меня всю дорогу, я видела во все время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот удалился, поджавши хвост, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами.
Проезжая через Сибирь, я была удивлена и поражена на каждом шагу тем радушием и гостеприимством, которые встречала везде. Была я поражена и тем богатством и обилием, с которыми живет народ и поныне (1861 год), но тогда еще более было приволья всем. Особенно гостеприимство было развито в Сибири. Везде нас принимали, как будто мы проезжали чрез родственные страны; везде кормили людей отлично и, когда я спрашивала — сколько должна за них заплатить, ничего не хотели брать, говоря: «Только Богу на свечку пожалуйте».
Такое бескорыстие изумляло меня, но оно происходило не от одного радушия, а также и от избытка во всем.
Сибирь чрезвычайно богатая страна, земля необыкновенно плодородна, и немного надо приложить труда, чтобы получить обильную жатву.
В Каинске мне рассказал почтмейстер, как княгиня Трубецкая, рожденная графиня Лаваль, проезжая летом, должна была бросить в этом городе карету свою, которая сломалась дорогой и некому было починить ее. Таким образом, эта женщина, воспитанная в роскоши, выросшая в высшем кругу, изнеженная с детства, проскакала 1,750 верст в сквернейшей тележке, потому что в Каинске, кроме перекладной, она ничего не могла достать, а кто знает, что такое перекладная!
Около Красноярска я съехалась на одной из станций с губернатором Енисейской губернии.
Подстрекаемый любопытством, прочитав мою иностранную фамилию и предполагая, что я еду к кому-нибудь, он подошел ко мне, и очень извиняясь, что обращается с расспросами, сознался, что не может устоять против желания узнать, каким образом, не говоря по-русски, я решила ехать так далеко; но когда я ему объяснила, куда именно я еду, то он с большим участием отнесся ко мне и просил поклониться всем осужденным, особенно барону Владимиру Ивановичу Штейнгелю и братьям Николаю и Михаилу Александровичам Бестужевым.
Немного далее я встретила одного молодого человека, который, узнав о цели моей поездки, прослезился, говоря, что у него много там товарищей, что он тоже участвовал в обществе, но сослан в Сибирь на службу. Сожалею, что я забыла его фамилию.
Наконец, достигла я Иркутска, к величайшей радости моих людей, которые очень утомились дорогой, а главное — страдали от морозов.

XII

Когда губернатор иркутский Цейдлер прочел мою подорожную, то не хотел верить, чтобы я, женщина, могла проехать от Москвы до Иркутска в восемнадцать дней, и когда я явилась к нему на другой день моего приезда в 12 часов, он спросил меня — не ошиблись ли в Москве числом на подорожной, так как я приехала даже скорее, чем ездят обыкновенно фельдъегеря.
Просмотрев все мои бумаги, которые я должна была показать ему, а также письма, Цейдлер объявил мне, что письма должен оставить у себя.
В Иркутске остановилась я в семействе купца Наквасина, к которому имела из Москвы письмо. Едва ли на всем земном шаре найдется страна другая, как Сибирь, по своему гостеприимству!
Наквасины приняли меня как самую близкую родственницу, с полнейшим радушием: окружили таким вниманием, заботами, что я со слезами благодарности вспоминаю всегда то время, которое провела в их семье и которое было для меня очень тягостно, так как губернатор под разными предлогами задерживал меня очень долго в Иркутске, несмотря на то, что все бумаги из Петербурга были им получены. Сначала он отзывался тем, что генерал-губернатор Лавинский был в отсутствии, но потом я убедилась, что это была одна придирка, так как он отпустил меня все-таки ранее, чем вернулся Лавинскяй. Настоящей причины — почему меня задержали — я понять никак не могла, но позднее узнала, что из Петербурга было сделано распоряжение, чтобы нас, всех дам, последовавших за осужденными, старались бы задерживать и уговаривать не ездить далее Иркутска и убеждать вернуться назад. Но, однако ж, несмотря на все старания начальства, ни одна из нас не отступила от исполнения своего долга. Однако осталось для меня загадкою, почему Александру Ивановну Давыдову, которая прибыла при мне в Иркутск, отпустили ранее меня, тогда как меня, несмотря на все мои просьбы и мольбы, продержали очень долго.
Наступила масленица; я все время жила у Наквасиных. Они, видя мое горе о том, что не пускают меня ехать далее, всячески старались развлекать меня, катали каждый день по Иркутску в великолепных санях, с великолепною упряжью и такими же лошадьми.
Наконец, Цейдлер решился выпустить меня из Иркутска: 28 февраля 1828 года я получила бумаги, без которых выехать не могла.
Конечно, после этого я стала собираться в дорогу. Тогда только мне сделалось известным, что я должна ехать в Читу.
Наквасины предупредили меня, что там ничего нельзя будет достать. Тогда я закупила в Иркутске всякой провизии, посуды, одним словом, что только могла взять с собою, особенно старалась захватить вина побольше, зная, насколько пребывание в крепости до отсылки в Сибирь изнурило всех и расстроило здоровье как Ивана Александровича Анненкова, так и других.
Людей, которые меня провожали, я не имела права везти далее. Из Петербурга было распоряжение оставлять их в Иркутске или отправлять обратно. Но Андрей бросился к моим ногам, со слезами просил взять его с собой и уверял, что он желает видеть своего барина и служить ему. Я поддалась его уверениям, хотя не любила его и знала некоторые его проделки еще в доме Анны Ивановны Анненковой, которые мне очень не нравились; но он так упрашивал меня, что я, наконец, уступила просьбам и решилась оставить при себе, а Степана отправила обратно в Москву.

XIII

Выехала из Иркутска я 29 февраля 1828 года, довольно поздно вечером, чтоб на рассвете переехать через Байкал. Наквасины выехали далеко за город проводить меня.
Губернатор заранее предупреждал меня, что перед отъездом вещи мои будут все осматриваться, и когда узнал что со мною есть ружье, то советовал его запрятать подальше, но главное, со мною было довольно много денег, о которых я, понятно, молчала; тогда мне пришло в голову зашить деньги в черную тафту и спрятать в волосы, чему весьма способствовали тогдашние прически; часы и цепочку я положила за образа, так что, когда явились три чиновника, все в крестах, осматривать мои вещи, то они ничего не нашли.
К Байкалу подъезжают по берегу реки Ангары. Это замечательная река по своему необыкновенно быстрому течению, вследствии чего она зимой не замерзает, по крайней мере, до января месяца. Около Иркутска Ангара очень широка, в том месте, где она вытекает из Байкала, она течет очень узко, между двух крутых берегов. Все это было для меня так ново, так необыкновенно, что я забыла совершенно все неудобства зимнего путешествия и с нетерпением ожидала увидать Байкал, это святое море, которое, наконец, открылось перед нами, представляя необыкновенно величественную картину, несмотря на то что было покрыто льдом и снегами. Признаюсь, что я с не совсем покойным чувством ожидала переезда через грозное озеро, так как мне объяснили, что на льду образуются часто трещины, очень широкие, и хотя лошади приучены их перескакивать и ямщики запасаются досками, из которых устраивают что-то вроде мостика через трещину, но все-таки переезды эти сопряжены с большою опасностью.
На мое счастье, мы не встретили ни одной трещины и переехали Байкал с невероятною быстротой и остановились отдохнуть в Посольске.
В Верхне-Удинске меня задержали, несмотря на то что я привезла письмо казачьему атаману от Цейдлера; но утром проехал генерал-губернатор иркутский Лавинский и забрал всех лошадей, так что мне пришлось прождать весь день, что меня очень огорчило.
Тут я провела несколько очень приятных часов в семействе Александра Николаевича Муравьева, который был сослан на службу в Сибирь, а впоследствии, в начале 1860 годов, был губернатором в Нижнем Новгороде.
От Верхне-Удинска до Читы 700 верст. Я с трудом подвигалась даже в своих легких повозках, так как снегу было очень мало и мы ехали буквально по мерзлой земле.
В Восточной Сибири никогда не бывает глубоких снегов, тогда как в Западной, напротив, выпадает очень много снегу.
На всем протяжении от Верхне-Удинска до Читы в то время, как я ехала, почти не было никакого населения. Я встретила только три деревни, остальные станции состояли из бурятских юрт и станционного дома. Бурят вообще я встречала очень много по дороге; они или перекочевывали с их многочисленными табунами, состоявшими из коров, лошадей и преимущественно баранов, которыми они и питаются, или, раскинув свои юрты, отдыхали. Из этих юрт постоянно показывались совершенно голые ребятишки, несмотря на сильнейший мороз; нередко показывались с куском бараньего сала в руках, который они с наслаждением сосали. Местами, где по дороге не было совершенно снегу и лошади не в силах были стащить экипажи мои, нагруженные множеством разных вещей, буряты являлись нам на помощь с их лошадьми и ничего не хотели брать за оказанные услуги.
Если их ребятишки были совершенно голые, то женщины по костюму нисколько не отличались от мужчин; они все носили платье одного покроя, сшитое из овчин, и только волосы у женщин были заплетены в мелкие косички, украшенные кораллами, называемыми ими моржанами.
Когда мы подъехали к Яблонову хребту, была совершенная ночь и ямщики отказывались продолжать путь. Но верное мое средство — на водку — помогло и здесь. Мы тронулись, но с большим трудом стали подыматься в гору, которая была страшной высоты. Далее мне объявили, что на полозьях ехать невозможно, и я вынуждена была остановиться, чтоб поставить экипажи мои на колеса.
В то время, как я взошла на станцию, в комнате было совершенно темно, так что трудно было различить что-нибудь, но мне показалось, что тут кто-то был до меня и при моем появлении исчез за перегородку, затворив дверь и задвинув задвижку. Это меня так напугало, что я не могла заснуть, приказала Андрею достать свечи, которые были с нами, и просидела всю ночь на лавочке, прислонившись к стене. Когда начало светать, я позвала Андрея и велела подать чай. Тогда из-за перегородки вышел ко мне молодой человек, наружность которого и костюм поразили меня. Высокого роста, стройный, очень красивый, он мне вежливо и чрезвычайно ловко поклонился, хотя совсем не по-европейски. Лицо его, хотя совершенно азиатское, выражало очень много кротости, одет он был очень изящно и чрезвычайно богато; на нем был халат азиатского покроя изголубой камфы, затканной шелком с серебром и обшитый бобровым мехом. Голова была обрита кругом и коса, как носят китайцы. В руках бурятская шапка, тоже обшитая великолепным бобром. Это был тайша, бурятский князь, начальник этих инородцев.
Я предложила ему выпить со мной чаю, и он с видимым удовольствием принял мое предложение; но едва докончил чашку, как вышел из комнаты поспешно, даже не поклонившись мне. В окно я видела, как ему подали павозку с тройкою самых бойких и необыкновенно красивых лошадей. Он только успел сесть, как лошади помчались с быстротою молнии. Не прошло и полчаса, как он уже вернулся с толмачем своим (переводчиком), через которого расспрашивал меня: кто я такая, куда еду, зачем, и когда человек мой удовлетворил его любопытство и сказал, что я еду к Анненкову, который в Читинском остроге, он был крайне удивлен, очень задумался, потом просил передать, что глубоко уважает меня и желает мне всех благ. Мы расстались. Я села в одну из повозок, а другую, так как она еще не была готова, оставила с казаком и кухаркою, которую везла из Иркутска.
До Читы оставалась только одна станция, и сердце во мне все сильнее и сильнее билось по мере того, как я приближалась к цели моего путешествия.

XIV

Чита стоит на горе, так что я увидела ее издалека, к тому же бурят, который вез меня, показал мне пальцем, как только Чита открылась нашим глазам. Это сметливые люди: они уже успели приглядеться к нашим дамам, которые туда ехали, одна за другой.
Чита ныне (1861 год) уездный город; тогда это была маленькая деревня, состоявшая из 18 только домов. Тут был какой-то старый острог, куда первоначально и поместили декабристов.
Мы переехали маленькую речку и выехали в улицу, в конце которой и стоял этот острог.
Недалеко от острога был дом с балконом, а на балконе стояла дама. Заметя повозку мою, она стала подавать знаки, чтобы я остановилась, и стала настаивать, чтобы я зашла к ней, говоря, что квартира, которую для меня приготовили, еще далеко, и что там, может быть, холодно.
Я приняла приглашение и таким образом познакомилась с Александрою Григорьевною Муравьевой; это была чрезвычайно милая женщина, молодая, красивая, симпатичная, но ужасно раздражительная. Пылкая от природы, восприимчивая, она слишком все принимала к сердцу, и с трудом выносила и свое, и общее положение, и скоро сошла в могилу, оставя по себе самую светлую память.
В Читу я спешила приехать к 5 марта, день рождения Ивана Александровича, и мечтала, что тотчас же по приезде увижу его; даже на последней станции я принарядилась; но Муравьева разочаровала меня, объяснив, что не так легко видать заключенных, как я думала.
В начале их пребывания в Читинском остроге, потом в Петропавловской тюрьме соблюдались большие строгости, всегда, правда, смягченные справедливым, благородным и великодушным характером коменданта Лепарского, который относился к нам, особенно к дамам, с полнейшим снисхождением; а мы часто употребляли во зло его деликатность и высказывали ему иногда очень неприятные вещи, когда находили какое-нибудь распоряжение несправедливым.
Добрый старик всегда с величайшим терпением выслушивал нас и старался успокоить. А как много зависела от него наша жизнь, — тихая и спокойная, она могла сделаться невыносимою при других отношениях Лепарского с заключенными! Но он умел согласовать исполнение своего долга, своих обязанностей с такою деликатностью, что не давал никому чувствовать тяжелого положения, в каком мы находились; щадил всегда самолюбие, а с дамами обходился, как самый нежный отец. Но все это мы поняли позднее и позднее оценили старика, а в ту пору, когда я приехала, дамы относились к нему с сильным еще предубеждением и называли gardien.
Все правила, которым мы должны были подчиняться тогда, я узнала от Александры Григорьевны Муравьевой и от Елизаветы Петровны Нарышкиной, которая тогда жила вместе с Муравьевой.
Нарышкина (рожденная Коновницына) была не так привлекательна, как Муравьева; Нарышкина казалась очень медленною и с первого раза производила неприятное впечатление, даже отталкивала от себя, но зато, когда вы сближались с этой женщиной, невозможно было оторваться от нее, она приковывала всех к себе своей беспредельной добротой и необыкновенным благородством характера.
Комендант Лепарский сейчас же выказал всю заботливость, которою неутомимо окружал нас во все время своего начальства, прислав сказать мне, что квартира моя готова, и на другой день пришел ко мне сам и прочел разные бумаги, официальный смысл которых я не могла усвоить, но поняла, что мы не должны ни с кем сообщаться, никого не принимать к себе и никуда не ходить, а главное, запрещалось передавать в острог вино и что бы то ни было из спиртных напитков. Тогда я сказала коменданту, что готова подчиняться всем правилам, но что насчет вина он подал мне прекрасную мысль — употреблять его в кушаньях, какие я, как француженка, умею приготовить. Это очень насмешило старика, хотя он уверял меня, что в кушаньях запрещено употреблять вино.
Наконец, я сказала ему, что желаю видеть Ивана Александровича, что не напрасно же я приехала за шесть тысяч верст; он объяснил что сделает распоряжение, чтоб мне привели его. В то время без особенного распоряжения коменданта не приводили мужей к женам, и то, чтоб выпросить такое разрешение, — надо было представить важную причину.
Вот подписки, которые давали дамы по приезде своем в Читу:
«Я, нижеподписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, государственного преступника NN, верховным уголовным судом осужденного, и жить в том заводском, рудничном или другом каком селении, где он содержаться будет, если то дозволится от коменданта Нерчинских рудников г. генерал-майора и кавалера Лепарского, обязуюсь, по моей чистой совести, наблюсти нижеописанные предложенные мне им, г. комендантом, статьи; в противном же случае и за малейшее отступление от поставленных на то правил подвергаю я себя законному осуждению. Статьи сии моей обязанности суть следующая:

1

Желая разделить (как выше изъяснено) участь моего мужа, государственного преступника NN , и жить в том селении, где он будет содержаться, не должна я отнюдь искать свидания с ним никакими проискам и никакими посторонними способами, но единственно по сделанному на то от г. коменданта дозволению и токмо в назначенные для того дни, и не чаще, как чрез два дня на третий.

2

Не должна доставлять ему (мужу) никаких вещей, денег, бумаги, чернил, карандашей без ведома г. коменданта или офицера, под присмотром коего будет находиться муж мой.

3

Равным образом не должна я принимать и от него никаких вещей, особливо же писем, записок и никаких бумаг для отсылки их к тем лицам, кому оные будут адресованы или посылаемы.

4

Не должна я ни под каким видом ни к кому писать и отправлять куда бы то ни было моих писем, записок и других бумаг, иначе как токмо чрез г. коменданта. Равно если от кого мне или мужу моему чрез родных или посторонних людей будут присланы письма и прочее изъясненное в сем и 3-м пункте, должна я их ему же, г-ну коменданту, при получении объявлять, если оные не чрез него будут мне доставлены.

5

То же самое обещаю наблюсти и касательно присылки мне и мужу моему вещей, какие бы они ни были, равно и деньги.

6

Из числа вещей моих, при мне находящихся и которым регистр имеется у г. коменданта, я не в праве без ведома его продавать их, дарить кому или уничтожать. Деньгам же моим собственным, оставленным для нужд моих теперь равно и вперед от коменданта мне доставленным, я обязуюсь вести приходо-расходную книгу и в оную записывать все свои издержки, сохраняя между тем сию книгу в целости; в случае же востребования ее г-м комендантом оную ему немедленно представлять. Если же окажутся (вещи излишние против находящегося) у г-на коменданта регистру, которые были мною скрыты, в таком случае как за противо (сего) учиненный поступок подвергаюсь я законному суждению.

7

Также не должна я никогда мужу моему присылать никаких хмельных напитков, как-то: водки, вина, пива, меду, кроме съестных припасов; да и сии доставлять ему чрез старшего караульного унтер-офицера, а не чрез людей моих, коим воспрещено личное свидание с мужем моим.

8

Обязуюсь иметь свидание с мужем моим не иначе как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера; не говорить с ним ничего излишнего, и паче чего-либо не принадлежащего, вообще же иметь с ним дозволенный разговор на одном русском языке.

9

Не должна я нанимать себе никаких иных слуг или работников, а довольствоваться только послугами приставленных мне одного мужчины и одной женщины, за которых также ответствую, что они не будут иметь никакого сношения с моим мужем и вообще за их поведение.

10

Наконец, давши таковое обязательство, не должна я сама никуда отлучаться от места того, где пребывание мое будет назначено, равно и посылать куда-либо слуг моих по произволу моему без ведома г-на коменданта или, в случае отбытия его, без ведома старшего офицера.
В выполнении всего вышеизъясненного в точности под сим подписуюсь. Читинский острог. 1828 года.
Копию сверял плац-адъютант штаб-ротмистр Казимирский.
После того, как ушел от меня Лепарский, часа через два, провели мимо моих окон несколько молодых людей, окруженных солдатами, но на этот раз без оков, так как они шли в баню. На возвратном пути один из них отстал от солдат и, подойдя к моему окну, в котором я открыла форточку, проговорил торопливо, что скоро проведут Ивана Александровича Анненкова.
Тогда я поставила на крыльцо человека с приказанием предупредить меня, как только он увидит своего барина, а сама превратилась вся в ожидание.
Четверть часа спустя человек вызвал меня, и я увидела Ивана Александровича между солдатами, в старом тулупе, с разорванной подкладкой, с узелком белья, который он нес под мышкою.
Подходя к крыльцу, на котором я стояла, он сказал мне:
— Paulune, dessends plus vite et donne moi ta main (*«Полина, сойди скорее вниз и дай мне руку»* - Прим.).
Я сошла поспешно, но один из солдат не дал мне поздороваться — он схватил Ивана Александровича Анненкова за грудь и отбросил назад. У меня потемнело в глазах от негодования, я лишилась чувств и, конечно, упала бы, если бы человек не поддержал меня.
Вслед за Иваном Александровичем провели между другими и Михаила Александровича Фон-Визина, бывшего до ссылки генерала. Я все стояла на крыльце, как прикованная; Фон-Визин приостановился и спросил о жене своей, я успела сказать ему, что видела ее и оставила здоровою.
Только на третий день моего приезда привели ко мне Ивана Александровича. Он был чище одет, чем накануне, потому что я успела уже передать в острог несколько платья и белья, но был закован и с трудом носил свои кандалы, поддерживая их. Они были ему коротки и затрудняли каждое движение ногами. Сопровождали его офицер и часовой, последний остался в передней комнате, а офицер ушел и возвратился через два часа.
Невозможно описать нашего первого свидания, той безумной радости, которой мы предались после долгой разлуки, позабыв все горе и то ужасное положение, в каком мы оба находились в эти минуты.

XV

Наступил пост, и как Иван Александрович ни торопил коменданта Лопарского разрешить нам обвенчаться скорее, но приходилось ждать.
Наконец, был назначен день нашей свадьбы, и именно 4 апреля 1828 года. Сам Лепарский вызвался быть нашим посаженным отцом, а посаженною матерью была Наталья Дмитриевна Фон-Визина, вскоре после меня приехавшая в Читу. Добрейший старик позаботился приготовить образ, которым благословил нас по русскому обычаю, несмотря на то что сам был католик. Отвергнуть его предложение заменить нам отца я не могла, но образ не приняла. Теперь не могу простить себе такую необдуманную выходку, в которой я много раз потом раскаивалась и которая в то время очень обидела старика. Но я уже сказала — с каким предупреждением все мы смотрели тогда на Лепарского, которого только потом оценили. И мой легкомысленный поступок он также великодушно простил мне, как прощал многое всем нам, снисходя всегда нашей молодости и тому положению, в каком мы находились.
4 апреля 1828 года с утра начались приготовления; все дамы хлопотали принарядиться, как только это было возможно сделать в Чите, где, впрочем, ничего нельзя было достать, даже свечей не хватило, чтобы осветить церковь прилично торжеству. Тогда Елизавета Петровна Нарышкина употребила восковые свечи, привезенные ею с собою, и освещение вышло очень удачное. Шафера непременно желали быть в белых галстуках, которые я им и устроила из батистовых платков и даже накрахмалила воротнички, как следовало для такой церемонии. Экипажей, конечно, ни у кого не было. Лепарский, отъехав в церковь, прислал за мной свою коляску, в которой я и поехала с Натальей Дмитриевной Фон-Визиной. Старик встретил нас торжественно у церкви и подал мне руку. Но так как от веского до смешного один шаг, как сказал Наполеон, так тут грустное и веселое смешалось вместе. Произошла путаница, которая всех очень забавляла и долго потом заставляла шутить над стариком. Мы с ним оба, как католики, весьма редко раньше бывали в русской церкви и не знали, как взойти в нее, между тем народу толпилось пропасть у входа, когда мы подъехали, и пока Лепарский высаживал меня из коляски, мы не заметили с ним, как Наталья Дмитриевна исчезла в толпе и пробралась в церковь, которая, на нашу беду, была двухэтажная. Не знаю, почему старику показалось, что надо идти наверх, между тем лестница была ужасная, а Лепарский был очень тучен, и мы с большим трудом взошли наверх; там только заметили свою ошибку и должны были спуститься снова вниз. Между тем в церкви все уже собрались и недоумевали — куда я могла пропасть с комендантом. Это происшествие развлекло всех, и, когда мы появились, нас весело встретили, особенно шутили наши дамы, которые находились в церкви и были смущены тем, что невеста исчезла.
Не было только одной из нас, это Александры Григорьевны Муравьевой, которая накануне только получила известие о смерти своей матеря графини Чернышевой, остальные все: Нарышкина, Давыдова, Янтальцева, княгиня Волконская и княгиня Трубецкая — присутствовали при церемонии.
Веселое настроение исчезло, шутки замолкли, когда привели в оковах жениха и его двух товарищей, Петра Николаевича Свистунова и Александра Никитича Муравьева (*Скорее всего, Михайловича* - Прим.), которые были нашими шаферами. Оковы сняли им на паперти. Церемония продолжалась недолго, священник торопился, певчих не было.
По окончании церемонии всем трем, т. е. жениху и шаферам, надели снова оковы и отвели в острог.
Дамы все проводили меня домой. Квартира у меня была очень маленькая, мебель вся состояла из нескольких стульев и сундука, на которых мы кое-как все разместились.
Спустя несколько времени плац-адъютант Розенберг привел Ивана Александровича, но не более как на полчаса.
Только на другой день нашей свадьбы удалось нам с Иваном Александровичем посидеть подольше; его привели ко мне на два часа, и это была большая милость, сделанная комендантом. Почти во все время нашего прибывания в Чите заключенных не выпускали из острога, и в начале мужей приводили к женам только в случае серьезной болезни последних, и то на это надо было испросить особенное разрешение коменданта. Мы же имели право ходить в острог на свидание через два дня в третий. Там была назначена маленькая комната, куда приводили к нам мужей в сопровождении дежурного офицера.
На одном из таких свиданий был ужасный случай с А.Г. Муравьевой, которая пришла больная, уставшая и, разговаривая с мужем, опустилась на стул, который стоял тут. Офицеру это не понравилось, и особенно взбесило его то, что она говорила по-французски; он был, кажется, в нетрезвом виде и под влиянием вина начал говорить грубости, наконец, крикнул, схватив А.Г. Муравьеву за руку:
— Говори по-русски, и как ты смеешь садиться при мне!
Несчастная женщина так перепугалась, что выбежала из комнаты в истерическом припадке; на крыльце в это время стояло несколько молодых людей, в том числе брат Муравьевой, гр. Чернышев, и Иван Александрович Анненков. Все бросились на офицера, Иван Александрович схватил его за воротник и отбросил назад, чтобы дать возможность Муравьевой пройти. Послали за плац-адъютантом, который не замедлил явиться, сменил офицера с дежурства, а молодых людей успокоил. Коменданта в это время не было в Чите, но на другой день он вернулся и тотчас по возвращении своем пошел к Александре Григорьевне, извинился за пьяного офицера и обещал, что вперед дамы не будут подвергаться подобным грубостям, а офицера, как виноватого, от нас перевел. История эта могла кончиться очень печально для заключенных, если бы только Лепарский был другой человек, но этот великодушный старик умел всегда всех успокоить
В те дни, когда нельзя было идти в острог, мы ходили к тыну, которым он был окружен, первое время нас гоняли, но потом привыкли к нам и не обращали внимания Мы брали с собою ножики и выскабливали в тыне скважинки, сквозь которые можно было говорить; иногда садились у тына, когда попадался под руку какой-нибудь обрубок дерева. Об этих посещениях упоминает князь Александр Иванович Одоевский в своем прекрасном стихотворении, посвященном княгине Волконской:

|  |
| --- |
| И каждый день садились у ограды,И сквозь нее небесные устаПо капле им точили мед отрады...  |

Когда привезли в Читу Ивана Александровича с его товарищами, острог, в котором они были помещены позднее, тогда отделывался, и поэтому их поместили в старом полуразвалившемся здании, где останавливались ранее партии арестантов. Несмотря на то что здание это было полусгнившее, а зима была жестокая, они должны были, однако ж, провести там всю вторую половину зимы, так как другого помещения не было Спали они на нарах, и первое время ни у кого не было ни постели, ни белья. Тогда нашлась в Чите одна добрая душа, которая сколько могла прибегала на помощь заключенным Это была Филицата Осиповна Смольянинова, жена начальника рудников, женщина, не получившая образования, но от природы одаренная чрезвычайно благородным сердцем и необыкновенно твердым характером; она была способна понимать самые возвышенные мысли и принимала живейшее участие во всех декабристах, но Иваном Александровичем она особенно интересовалась, потому что он был внук Якобия, наместника Сибири, которого Смольянинова помнила и к которому сохранила беспредельную преданность Для меня она была самою нежною и заботливою матерью; мы просиживали вместе по целым часам, несмотря на то что не могли говорить ни на каком языке, так как она не знала французского, а я не выучилась еще в то время говорить по-русски; не знаю каким образом, только мы отлично понимали друг друга Филицата Осиповна позаботилась прислать Ивану Александровичу тюфяк и подушку, без которых не совсем было хорошо спать на нарах, потом прислала белья, в котором он нуждался до моего приезда, и очень часто присылала в острог разной провизии, особенно пирогов, которые в Сибири делают в совершенстве
Между тем осужденные все прибывали и помещение становилось невыносимо тесным Наконец к осени 1827 года был окончен временный острог, который был назначен для них исключительно, но и там было немного лучше. До 70 человек должны были разместиться в 4 комнатах; спать приходилось также на нарах, где каждому было отведено очень немного места, так что надо было двигаться очень осторожно, чтобы не задевать соседа; шум от оков был невыносимый. Но молодость, здоровье, а главное дружба, которая связывала всех, помогали переносить невзгоды.
Оковы очень стесняли узников, казенные были очень тяжелы и, главное, коротки, что особенно для Ивана Александровича было очень чувствительно, так как он был высокого роста. Тогда я придумала заказать другие оковы, легче и цепи длиннее. Андрей мой угостил кузнеца, и оковы были живо сделаны. Их надели Ивану Александровичу, конечно, тайком и тоже с помощью угощения, а казенные я спрятала у себя и возвратила, когда оковы были сняты с узников, а свои сохранила на память. Из них впоследствии было сделано много колец на память и несколько браслетов.
Стража в Чите состояла из инвалидов, и часто нам приходилось сносить дерзости этих солдат, несмотря на то что комендант очень строго взыскивал с них за малейшую грубость; сами заключенные им охотно прощали, сознавая, что они это сделали по глупости своей; гораздо было чувствительнее и обиднее, когда из офицеров попадались такие, которые превратно понимали свои обязанности и позволяли себе грубые выходки, желая, вероятно, выслужиться или думая что исполняют свой долг, так как из Петербурга, кажется, если не ошибаюсь, было приказание говорить «ты» заключенным.
Таким образом Иван Александрович был однажды выведен из терпения одним старым капитаном, который позволил себе сказать ему:
— Открой твой чемодан.
На что Иван Александрович отвечал ему:
— Открой сам.
Потом этот капитан сознался мне, что жестоко струсил, когда Иван Александрович отвечал ему, — так он был страшен в эту минуту от негодования. Я была в милости у этого капитана за то, что сравнила его однажды с Наполеоном I. За такой комплимент он приводил ко мне Ивана Александровича раньше других и приходил за ним на полчаса позднее. Это, конечно, служит доказательством того, что злобы на нас эти люди никакой не питали.
По приезде в Читу все дамы жили на квартирах, которые нанимали у местных жителей, а потом мы вздумали строить себе дома, и решительно не понимаю, почему комендант не воспротивился этому, так как ему было уже известно, что в Петровском Заводе было назначено выстроить тюремный замок для помещения декабристов; хотя, конечно, дома наши, выстроенные в роде крестьянских изб, не особенно дорого стоили, но все-таки это была напрасная трата денег, так как мы оставались в Чите только три с половиною года, что не могло не быть известно заранее коменданту.
Местоположение в Чите восхитительное, климат самый благодатный, земля чрезвычайно плодородная, между тем, когда мы туда приехали, никто из жителей не думал пользоваться всеми этими дарами природы, никто не сеял, не садил и не имел даже малейшего понятия о каких бы то ни было овощах; это заставило меня заняться огородом, который я развела около своего домика; тут неподалеку была река и с северной стороны огород был защищен горой. При таких условиях овощи мои достигли изумительных размеров. Растительность во всей Сибири поистине удивительная, и особенно это нас поражало в Чите.
Когда настала осень и овощи созрели, я послала солдата, который служил у меня и находился при огороде, принести мне кочан капусты; он срубил два и не мог их донести, так они 'были тяжелы, — пришлось привезти эти два кочана на телеге. Я из любопытства приказала свесить их и оказалось в двух кочанах 2 пуда 1 фунт весу. Мне некуда было девать все, что собрали в огороде, и я завалила овощами целую комнату в моем новом доме. Трудно себе представить, каких размеров были эти овощи (monstres): свекла была по 20 ф., репа по 18 ф., картофель по 9 ф., морковь по 8 ф. Конечно, мы выбирали самые крупные, но все-таки я уверена, что нигде никогда не росло ничего подобного. Овощи нам всем очень пригодились в продолжении зимы; потом и другие занялись огородами.
Иван Александрович с трудом переносил казенную пищу, на которую казна отпускала деньги, но довольно скудно, так что обед в остроге состоял из щей и каши большей частью; я каждый день посылала ему обед, который приготовляла сама; главное неудобство состояло в том, что у меня не было плиты, о которой в то время в Чите никто, кажется, не имел и понятия; кухарки были очень плохие, и я ухитрилась варить и жарить на трех жаровнях, которые помещались в сенях. Когда я переехала в свой дом, в октябре месяце, то там была уже устроена плита к дамы наши часто приходили ко мне посмотреть, как я приготовляю обед, и просили научить их то сварить суп, то состряпать пирог, но когда дело доходило до того, что надо было взять в руки сырую говядину или вычистить курицу, то не могли преодолеть отвращения к такой работе, несмотря на все усилия, какие делали над собой. Тогда наши дамы сознавались со слезами, что завидуют моему умению все сделать, и горько жаловались на самих себя за то, что не умели ни за что взяться, но в этом была не их вина, конечно: воспитанием они не были приготовлены к такой жизни, какая выпала на их долю, а меня с ранних лет приучила ко всему нужда.
Мы каждый день почти были все вместе; иногда ездили верхом на; бурятских лошадях в сопровождении бурята, который ехал за нами с колчаном и стрелами — как амур.
Однажды вечером собрались ко мне все дамы: это было в сентябре месяце, когда вечера становятся довольно длинные. Этот вечер был восхитительный, но страшная темнота покрывала все кругом, только ярко блестели звезды, которыми небо было усыпано. Домик, занимаемый мною, стоял совсем в конце села, и на довольно большом расстоянии от домиков, занимаемых другими дамами. За ним была поляна, а дальше густой лес, перед окнами через улицу был страшный обрыв, внизу прекрасный луг, орошаемый рекою Янгодою (*Ингодою* - Прим.). Вид из окон был бесподобный, и я часто просиживала по целым часам, любуясь им, а вечером выходила посидеть на крылечко. В это время обыкновенно царствовала глубокая тишина и спокойствие, природа беэмолствовала, не слышно было человеческого голоса. В этот вечер, о котором я говорю, как всегда, сидела я на крылечке и распевала французские романсы.
Вдруг послышались громкие веселые голоса и воздух огласился звонким смехом. Я тотчас же узнала наших дам; они шли, вооруженные огромными палками, а впереди их шел ссыльный еврей, который жил у А.Г. Муравьевой; шел он с фонарем в руках и освещал дорогу. Мы радостно поздоровались, гости объявили мне, что они голодны, что у них нет провизии и что я должна их накормить; они знали, что у меня всегда в запасе что-нибудь, потому что я все делала сама; я была, конечно, рада видеть их и принялась хлопотать: нашелся поросенок заливной, жареная дичь, потом мы отправились в огород за салатом с Елизаветою Петровною Нарышкиною, которая с фонарем светила мне. Ужин был готов, но пить было нечего. Отыскался, впрочем, малиновый сироп. К счастию, все были неразборчивы, а главное желудки были молодые и здоровые, и поросенок и салат прекрасно запивались малиновым сиропом. Все это веселило нас и заставляло хохотать, как хохочут маленькие девочки.
Надо сознаться, что много было поэзии в нашей жизни. Если много было лишений, труда и всякого горя, зато много было и отрадного. Все было общее — печали и радости, все разделялось, во всем друг другу сочувствовали. Всех связывала тесная дружба, а дружба помогала переносить неприятности и заставляла забывать многое.
Долго мы сидели в описываемый вечер. Поужинав и нахохотавшись досыта, дамы отправились домой.
Во все время нашего пребывания в Чите мы не имели права держать наши деньги у себя, и должны были отдавать их коменданту, а потом просить всякий раз, когда являлась нужда в них; в расходах мы отдавали отчет коменданту и представляли счета. Таким образом мне пришлось однажды просить у Лепарского выдать мне 500 рублен, что он и не замедлил исполнить. Но едва писарь передал мне эти деньги, как вслед за ним вошел ко мне один поселенец, который жил в том же доме, где я нанимала квартиру.
Этот человек был мною облагодетельствован. Незадолго пред этим я устроила его свадьбу и все время помогала ему. Тут он явился, по всей вероятности, не с добрым намерением, потому что был очень взволнован и даже с трудом мог объяснить причину своего посещения, едва выговаривая заикаясь, что просит дать ему утюг. В ту минуту мне не пришло в голову ни малейшего подозрения, и хотя мне казалось странным, что он так встревожен, но я готова была исполнить его просьбу и уже нагнулась, чтобы достать большой, тяжелый утюг из-под скамейки, на которой сидела, как вдруг дверь отворилась и вошел мясник за деньгами. Тогда мой поселенец бросился со всех ног из комнаты, не дожидаясь утюга. Мясник с удивлением посмотрел на меня и спросил, зачем я пускаю таких людей к себе; а когда объяснила, что тот приходил за утюгом, тогда мясник объявил, что или утюг служил только предлогом, или этот человек имел намерение воспользоваться утюгом, чтобы, если не убить меня, то ошеломить, зная, что я получила деньги, которые в ту минуту открыто лежали у меня на столе. Тогда только я поняла, какой подвергалась я опасности.
Несколько дней спустя после этого происшествия ко мне пришел на свидание Иван Александрович. Все это происходило в июле месяце, когда стояли нестерпимые жары. Обыкновенно я приготовляла закусить, когда ждала его к себе. Он поел немного и прилег на кровать отдохнуть, но вскоре попросил пить; тогда, притворив дверь, я попросила часового сказать Андрею подать стакан квасу; он довольно долго заставил ждать себя, а Ивану Александровичу очень хотелось пить, так что я взяла стакан из рук Андрея и второпях подала его. Иван Александрович разом выпил весь стакан, но с последним глотком остановился и сказал мне, что проглотил что-то очень неприятное. Я испугалась, думая, не пчела ли это, так как мух и пчел было очень много; но Иван Александрович объяснил, что это было что-то круглое и довольно твердое, как орех. Потом ему было немного тошно, и скоро настало время вернуться в острог. Я осталась очень встревоженная.
На другой день, как только было возможно, я побежала к тыну. Ко мне вышел Петр Николаевич Свистунов и сначала объяснил, что Иван Александрович захворал, что ему ночью было очень нехорошо, а потом спросил, что он ел у меня. Я отвечала, что кроме супа и жаркого ничего, и что это никак не могло повредить ему, так как все, по обыкновению, было приготовлено мною самой. Вскоре подошел и Иван Александрович; я изумилась, когда увидела его сквозь скважину: он был страшно бледен, лицо его осунулось и невероятно постарело. Он подошел ко мне и сказал, что подозревает, что Андрей дал ему что-то в квасе. И действительно, странно было и что он проглотил, и симптомы, которые заставили доктора подозревать действие мышьяка. Когда Ивану Александровичу сделалось дурно, он упал на пол, совершенно лишившись чувств; открылась сильнейшая рвота; тогда мальчик, который прислуживал в тюрьме, начал кричать, что Анненкова отравили, и прежде чем успели позвать доктора, этот мальчик успел сбегать куда-то за молоком и заставил выпить Ивана Александровича почти всю крынку. В Сибири в большом употреблении мышьяк, и там нередки случаи отправления, если питают злобу на кого, а молоко известно как противоядие, поэтому не удивительно, что мальчик так отнесся в этом случае.
Не успела я успокоиться после этих двух неприятностей, как случилась третья. Те две тысячи, которые я берегла в волосах, когда в Иркутске пришли осматривать мои вещи, хранились у меня на черный день и хранились с большими предосторожностями, потому что, как я уже оказала, мы не имели права держать у себя денег. Про эти две тысячи никто решительно не мог знать, кроме Андрея, которому, вероятно, было известно, по крайней мере приблизительно, сколько было со мной денег, когда я выехала из Москвы; к тому ж я потом спохватилась, что он однажды видел у меня в руках портфель, в котором лежали эти деньги. Портфель я прятала с разными вещами в сундук, за неимением мебели в Чите, а сундук запирался очень крепким замком. Однажды вечером, пока я сидела у княгини Трубецкой, ко мне прибежал впопыхах мальчик, сын моей хозяйки, и рассказал, что в моей комнате выломали окно, замок в сундуке сломали и вещи разбросали по комнате. Я тотчас же пошла домой и нашла, что вещи хотя и были разбросаны, но все были целы, не оказалось только одного портфеля с деньгами. Мне не так было досадно потерять 2 000, как неприятно объявлять об этом коменданту; между тем скрыть от него подобный случай не было возможности, и я вынуждена была во всем ему признаться. Человека моего и поселенца, который приходил ко мне за утюгом, посадили на гауптвахту, потому что все имели на них сильные подозрения. У Андрея, когда смотрели сундуки, нашли разные вещи, пропадавшие у меня раньше. В честности его я тем более имела причины сомневаться, что дорогой замечала, что он страшно обсчитывал меня на прогонах. Поселенца особенно подозревала хозяйка дома, где жила я. Оба обвиняемые просидели на гауптвахте 5 месяцев, по прошествии которых вынуждены были их выпустить, так как не имелось против них явных улик. Но вскоре после того, как выпустили их, мальчик соседнего дома нашел под окном у меня сверток в грязной бумажке и тотчас же принес его матери своей; та, развернув его, нашла 1 000 рублей и была так честна, что немедленно заявила об этом коменданту. Предполагая, что эта 1 000 из моих денег, комендант сделал распоряжение возвратить их мне, но другая тысяча не отыскалась. Андрей в пьяном виде хвастал, что остальные деньги перешли в руки чиновников, производивших следствие.
Вообще человек этот наделал мне много неприятностей, и я не раз раскаивалась, что уступила его желанию ехать со мной. Он все более и более пьянствовал и с этим вместе буянил ужасно, колотил кухарок, так что ни одна не хотела у меня жить, и, наконец, сделался невыносимо грубым. Ивана Александровича он вовсе не любил и относился к нему так, что мне не раз пришлось убедиться, что он не хотел вернуться из Иркутска в Москву не столько из привязанности к своему барину, как уверял меня, сколько по каким-нибудь другим причинам. Трудно решить, какие это были причины, и хотя происшествие со стаканом кваса невольно вызывало во всех мысль об отраве, но оно осталось тайною и исследовать — насколько могли быть верны подозрения — в этом случае было чрезвычайно трудно. Знаю только, что человек этот сделался для меня положительно невыносимым, но мы так были стеснены нашим положением, что надо было действовать очень осторожно, чтоб отделаться и развязаться с Андреем.

XVII

16 марта 1829 года у меня родилась дочь, которую назвали в честь бабушки Анною, у Александры Григорьевны Муравьевой родилась Нонушка, у Давыдовой сын Вака. Нас очень забавляло, как старик наш комендант был смущен, когда узнал, что мы беременны, а узнал он это из наших писем, так как был обязан читать их. Мы писали своим родным, что просим прислать белья для ожидаемых нами детей; старик возвратил нам письма и потом пришел. с объяснениями:
- Mais, mes dames, permetter-moi de vous dire, — говорил он запинаясь и в большом смущении: Vous n'avez pas le droit enceintes (*«Но позвольте вам сказать, что вы не имеете права быть беременными»* - Прим.), — потом прибавлял, желая успокоить нас: — Quand vous serez, c'est autre chose (*«Когда у вас начнутся роды, ну, тогда другое дело»* - Прим.).
He знаю — почему ему казалось последнее более возможным, чем первое.
Когда родились у нас дети, мы занялись ими, хозяйством, завели довольно много скота, который в Чите был баснословно дешев, и весь 1829 год прошел довольно тихо; только одно приключение со мною взволновало и встревожило меня.
Однажды Смольянинова, с которой я продолжала быть в самых дружеских отношениях, пришла ко мне с известием, что отправляется из Нерчинска караван с серебром и что один из унтер-офицеров, назначенных сопровождать его, ее крестник. Она говорила, что уверена в скромности этого человека и что можно без опасения доверить ему письма к родным. А так как мы были стеснены в нашей переписке, то я с радостью ухватилась за этот случай, чтобы написать Анне Ивановне Анненковой в Москву более откровенное и подробное письмо, а главное имела неосторожность вложить записку, написанную самим Иваном Александровичем к матери его, правда, очень коротенькую и совершенно невинную, но всем заключенным строго было воспрещено писать родным. В этом случае дамы заменяли секретарей и поддерживали переписку. Каждая из нас имела на своем попечении по нескольку человек, от имени которых и писала родственникам. Более всех выпадало на долю княгини Волконской и княгини Трубецкой, так как они лично были знакомы со многими из родственников заключенных. Им приходилось отправлять иногда от 20 до 30 писем зараз. Заключенные же были совершенно лишены права писать во все время, пока находились в каторжной работе.
Унтер-офицер охотно согласился передать письмо мое, не подозревая, вероятно, насколько это было важно. Я же никак не могла предвидеть того, что случилось по неосторожности самого молодого человека.
Приехав в Москву, он поспешил передать письмо Анне Ивановне, та приказала ему выдать 100 рублей. А он не нашел ничего лучшего сделать, как сшить себе мундир на эти деньги из тонкого сукна для представления государю. Обыкновенно офицеры и унтер-офицеры, сопровождавшие караваны, должны были представляться, и за исправное доставление серебра производились в следующие чины. Конечно, в таких случаях выбирались самые надежные, но именно благонравие то и погубило нашего крестника. Лучше было, если бы он прокутил злополучные 100 рублей, которые имели для него такие печальные последствия; но он, довольный своим мундиром из тонкого сукна, на расспросы офицера, с которым явился во дворец на представление, сознался в простоте души своей, что привез в Москву письмо от меня и получил за это щедрое вознаграждение, что и дало ему возможность принарядиться.
Офицер тотчас же донес об этом, так что это сделалось известным государю.
Несчастного крестника посадили в крепость, а за письмом моим был послан фельдъегерь к Анне Ивановне, к счастию та догадалась не отдать записку Ивана Александровича, а мое письмо было доставлено самому государю Николаю Павловичу.
Только четыре месяца назад мы узнали об этом печальном происшествии: комендант прислал за мною и когда я к нему явилась, принял меня с необыкновенно важным видом и даже запер дверь на ключ. На это я расхохоталась и спросила, к чему такие предосторожности; но потом уже не смеялась я, когда узнала, в чем дело. Лепарский начал с того, что спросил:
— Vous avez des lettres, madame? (*«Вы написали письма, сударыня?»* - Прим.)
— Je n'en ai qu'une senle (*«Я написала только одно»* - Прим.), — отвечала я, с намерением отпереться от записки Ивана Александровича.
Лепарский все допытывался, что именно писала я в письме, которое попало так неожиданно в руки государя, и когда я сказала ему: «Mais j'ai, que vons un homme» (*«Но я написала, генерал, что вы честный человек»* - Прим.) и объяснила, что просила присылать посылки чрез него, а не чрез Иркутск, где много пропадает вещей; тогда старик схватился обеими руками за голову и начал ходить по комнате, говоря:
— Je suis perdu! (*— Я пропал!* - Прим.)
Иногда он был очень забавен, но что за дивный это был человек!
Потом я спросила, какой ответственности все мы подвергаемся за такой проступок. Он отвечал, что я никакой: «Pour vous c'est different, madame, vous par l'Empereur» (*«Вам покровительствует государь, вы не рискуете ничем»* - Прим.), но что Смольянинова должна просидеть будет 4 месяца под арестом, и самое печальное, что крестник ее никогда уже не будет произведен в офицеры.
Я пришла в отчаяние. Мне ужасно было жаль молодого человека, который так жестоко должен был поплатиться за свою наивность, и очень было совестно перед Смольяниновой, которой я была очень многим обязана. Комендант утешал меня, что Смольянинова будет подвергнута только домашнему аресту, но прибавил, что мне запрещено с нею видеться, и показал при этом целую кипу бумаг, исписанную по случаю всей этой истории.
Выйдя от него, я побежала к Филицате Осиповне, извинялась перед нею, как только умела по-русски, потом подошла к ее мужу, который ходил в это время по комнате, сильно нахмурившись. Он без церемонии и довольно грубо оттолкнул меня.
Тогда надо было видеть Смольянинову, с каким негодованием и достоинством подошла она к своему мужу и начала упрекать его за грубую выходку, а меня успокаивать, прося не огорчаться.
- Он не в состоянии понять вас, — говорила великодушная женщина, потом, разгорячившись, обратилась к мужу: — Вы думаете, может быть, что государь на вас смотрит, чего вы боитесь, не стыдно ли вам!
В эту минуту Филицата Осиповна была прекрасна. Высокого роста, хотя с резкими, но выразительными чертами лица, она походила на древнюю римлянку. Несмотря на то, что нам было строго запрещено видеться, она находила возможность приходить ко мне по ночам, качать Аннушку, которая тогда была очень больна.

XVIII

В конце 1829 года привезли в Читу Лунина, который оставался в крепости, не знаю только в какой и почему долее других.
Это был человек замечательный, непреклонного нрава и чрезвычайно независимый. Своим острым, бойким умом он ставил в затруднительное положение всех, кому был подчинен. С ним положительно не знали, что делать.
Несмотря на всю строгость относительно нашей переписки, он позволял себе постоянно писать такие вещи, что однажды получил от сестры своей чрез Лепарского письмо, которое начиналось так: «Je viens de recevior vorte jettre, par une main, qui Commandi... (*«Я получила ваше письмо, скомканное рукой начальника...»* - Прим.) Письмо, действительно, дошло до нее все измятое.
Все наши письма проходили не только чрез руки коменданта Лепарского, которому мы были обязаны отдавать их незапечатанными, но они шли еще чрез III отделение, и, вероятно, более интересные из них читал сам государь Николай Павлович.
Лунин окончил дни свои на вторичной ссылке в Акатуе, куда был отвезен из места своего поселения, деревни Урика, близ Иркутска. Сначала предполагали всех декабристов поместить именно в Акатуе, и даже выстроили там для них помещение, но Лепарский донес, насколько это место могло быть гибельно для здоровья, и тогда было решено строить тюремный замок в Петровском Заводе. В Акатуе находятся главные серебряные рудники и воздух так тяжел, что на 300 верст в окружности нельзя держать никакой птицы — все дохнут.
На Лунина был сделан исправником донос, пока он находился в Урике, вследствие чего он был вторично сослан в каторжную работу.
После полуторагодового пребывания в Чите с заключенных были сняты оковы. Сделано это было с большою торжественностью. Комендант приехал в острог в мундире объявить монаршую милость, и цепи снимались в присутствии его и всей его свиты. После того как мужья наши были освобождены от цепей — и с нами сделались милостивее, солдаты перестали нас гонять от ограды, и мужей стали пускать к нам каждый день, но на ночь они должны были возвращаться в острог.
В Чите я даже первое время в Петровском Заводе заключенные обязаны были выходить на разные работы, для чего были назначены дни и часы, но работы эти не были тягостны, потому что делались без особенного принуждения; это время служило даже отдыхом для заключенных, потому что в остроге вследствие тесноты ощущался недостаток воздуха. Сначала их выводили на реку колоть лед, а летом заставляли также мести улицы, потом они ходили засыпать какой-то ров, который, не знаю почему, называли Чертовой могилой. Позднее устроили мельницу с ручными жерновами, куда их посылали молоть.
Мы, конечно, искали возможности поговорить с нашими мужьями во время работы, но это было запрещено, и солдаты грубо гоняли нас.
Княгиня Трубецкая рассказывала мне, когда я приехала в Читу, как она была поражена, когда увидела на работе Ивана Александровича; он в это время мел улицу и складывал сор в телегу. На нем был старенький тулуп, подвязанный веревкою, и он весь оброс бородой. Княгиня Трубецкая не узнала его и очень удивилась, когда ей муж сказал, что это был тот самый Анненков, блестящий молодой человек, с которым она танцевала на балах ее матери, графини Лаваль.
Княгиня Трубецкая и княгиня Волконская были первые из жен, приехавшие в Сибирь, зато они и натерпелись более других нужды и горя; они проложили нам дорогу и столько выказали мужества, что можно только удивляться им. Мужей своих они застали в Нерчинском заводе, куда они были посланы с семью их товарищами еще до коронации императора Николая. Подчинены они были Бурнашеву, начальнику Нерчинских заводов; Бурнашев был человек грубый и даже жестокий, он всячески притеснял заключенных, доводил строгость до несправедливости, а женам положительно не давал возможности видеться с мужьями. В Нерчинске точно также, как и в Чите, выходили на работы, но в Нерчинске все делалось иначе под влиянием Бурнашева; заключенных всегда окружали со всех сторон солдаты, так что жены могли их видеть только издали.
Князь Трубецкой срывал цветы на пути своем, делал букет и оставлял его на земле, а несчастная жена подходила поднять букет только тогда, когда солдаты не могли этого видеть.
Кроме того, эти две прелестные женщины, избалованные раньше жизнью, изнеженные воспитанием, терпели всякие лишения и геройски переносили все. Одно время княгиня Трубецкая положительно питалась только черным хлебом и квасом. Таким образом они провели почти год в Нерчинске, а потом были переведены в Читу. Конечно, в письмах своих к родным они не могли умолчать ни о Бурнашеве, ни о тех лишениях, каким подвергались, и, вероятно, неистовства Бурнашева были приняты не так, как он ожидал, потому что он потерял свое место, и только чрез длинный промежуток времени получил другое в Барнауле, где и умер.
В Чите нас очень полюбили все и многие даже плакали, когда мы уезжали, провожали нас до самого перевоза, который был в расстояния двух или трех верст от селения.
У меня было несколько друзей между бурятами. Они приходили к нам с разным товаром, и я часто у одного из них брала чай.
Я уже говорила, что нам приходилось иногда переносить грубости солдат. Однажды, пока сидел у меня Иван Александрович, пришел мой приятель бурят и разложил весь свой товар на пол, и мы тихо и мирно все сидели, как вдруг, не понимаю, что сделалось с солдатом, который сопровождал Ивана Александровича, — он вбежал в комнату, схватил бурята за ворот и вытолкал его на улицу. Я бросилась, желая защитить несчастного бурята, но в это время как подбежала я к двери, у меня на руках был ребенок, часовой хлопнул дверью так внезапно и так сильно, что не понимаю, как успела я отскочить, голова ребенка оказалась только на полвершка от удара!
Сколько раз все мы опрашивали себя, что бы с нами было, если бы наш справедливый сердечный старик, наш уважаемый Лепарский, был другой человек! Если при всех его заботах и попечениях о нас мы не могли избежать неприятностей, то трудно предвидеть, что могло бы быть в противном случае!
Наступил 1830 год, когда мы узнали, что уже решено перевести нас в Петровский Завод. Это известие всех нас очень взволновало и озаботило. Мы не знали, что нас ожидает там; место было новое, незнакомое. В то время как мы собирались в дорогу, пришло ужасное известие из Нерчинского Завода.
Туда был послан раньше всех других, тотчас по открытии общества Суханов (*Сухинов* - Прим.), который участвовал в обществе и служил во 2-й армии. Суханов был отправлен в цепях с партией арестантов и прошел пешком до самого Нерчинска. Тут он содержался с прочими арестантами вместе, между которыми было много поляков, что дало ему возможность сблизиться с некоторыми из них. Он задумал с пятью сообщниками бежать из острога, и все уже было приготовлено, чтобы привести план в исполнение, когда заговор был открыт. Суханова приговорили к наказанию кнутом, а остальных пяти человек к расстрелянию, но Суханову дали возможность избавиться от такого позорного наказания, и он лишил себя жизни своими цепями. Наш добрейший Лепарский был жестоко расстроен этим печальным событием, тем более, что ему пришлось присутствовать при самом исполнении приговора. Мне пришлось видеть его тотчас по возвращении из Нерчинска, он весь еще находился под впечатлением казни, и, право, жаль было смотреть на бедного старика.
Между тем наступило время нашего отправления в Петровский Завод. Наших путешественников разделили на две партии: одна должна была идти в сопровождении плац-майора и выступила 5 августа 1830 года. В ней находился Иван Александрович. Другая под наблюдением коменданта выступила 7 августа.
В день отправления Ивана Александровича я не могла проводить его, потому что сильно захворала. Он написал мне отчаянную записку; тогда ничто не могло удержать меня. Я побежала догонять его, думая застать еще на перевозе. В верстах в трех от Читы надо было переезжать чрез Янгоду. Каково же было мое отчаяние, когда, подходя к перевозу, я увидела, что все уже переехали на ту сторону реки. На этой стороне я застала только коменданта и моего старого знакомого бурятского тайшу, с которым я встретилась на станции, когда ехала в Читу. Но тайша отвернулся от меня. Им было строго запрещено сообщаться с нами, и он не хотел выдавать себя при начальстве. Комендант, видя, в каком я горе, предложил мне переехать на ту сторону и приказал подать паром. Между тем надвигались тучи, начиналась гроза, и дождь уже накрапывал. Добрейший старик надел на меня свой плащ. Поездка моя увенчалась успехом; я застала еще на той стороне Ивана Александровича, успокоила его совершенно и простилась с ним. Но вернуться назад было нелегко, разразилась такая гроза, какие бывают только в Сибири; удары грома следовали один за другим без промежутка, и дождь лил проливной, я промокла до последней нитки, несмотря на плащ коменданта, даже ботинки были полны воды, так что я должна была снять их и с большим трудом добралась до дому.
У меня давно уже было все готово к отъезду, и на другой день я выехала, держа в руках двух детей, одну девочку полуторагодовую, другую трехмесячную. Последнюю и не знаю как я довезла, она дорогою сильно захворала. Переехав Янгоду, я остановилась, чтобы проститься с Фелицатой Осиповною, которая провожала меня. Мы обе заливались слезами; она очень грустила, что мы все уезжали.
В эту минуту перед нами открылась прекрасная картина, показалась вторая партия декабристов. Лепарский ехал верхом на белой лошади; впереди всех шел Панов в круглой шляпе и каком-то фантастическом костюме, впрочем, довольно красивом. Другие также были одеты очень оригинально, а иные даже очень комично, но издали нельзя было различить всех деталей их разнообразных костюмов, а шествие было очень красиво.
Дорога от Янгоды шла степью, так что глазу не на чем было остановиться; на 8-й версте я заметила вдали трех человек верхом, которые неслись прямо на нас как птицы; доскакав до моего экипажа, они остановились как вкопанные, пересекая нам дорогу и разом останавливая наших лошадей. Сначала я немного струсила, но потом узнала моего тайшу; он был со своими адъютантами и, как мне говорили потом, поджидал меня, желая загладить, вероятно, свою нелюбезность в присутствии начальства. Тут он осведомился о моем здоровье, спросил, есть ли у меня дети, и, когда узнал, что две девочки, очень поздравлял. По их понятиям девочки — капитал, потому что за них платят калым, и иногда очень большой.
Тайша вскоре после нашей встречи умер. Мне говорили, что с тоски по матери, которую рано потерял. Этот сын природы и степей, вероятно, умел также горячо любить и чувствовать. Что поражало в нем, это необыкновенная элегантность его манеры.
На второй станции я переехала Яблоновый хребет. Проезжая в первый раз зимой и ночью чрез него, я не могла судить о той поразительной картине, которая представилась теперь глазам моим. Ничего нельзя себе вообразить великолепнее и роскошнее сибирской природы.
Все наши дамы ехали не спеша,, поджидая, конечно, случая, когда можно будет видеться с мужьями, но комендант, заметя такой маневр с нашей стороны, приказал нам отправляться вперед, и даже воспретил сталкиваться на станциях, и отправил казака с приказанием заготовлять для нас лошадей, чтобы не могло происходить умышленных остановок или неумышленных задержек. Тогда нечего было делать и мы грустно потянулись одна за другою.
На одной из станций я встретила этого казака, посланного комендантом; он назывался Гантамуров и происходил от китайских князей. Сестра его была кормилицею Нонушки Муравьевой. Гантамуров был молодец высокого роста. Я видела, как он выехал со станции на бешеных лошадях. Там станции так устроены, что во дворе ворота при въезде и при выезде одни против других; пока закладывают лошадей, их держат человека 2 или 3, двое стоят у ворот, которые заперты Когда лошади готовы и все уже сидят в экипаже, тогда ворота разом открываются, люди отскакивают, а лошади мчатся так, что дух захватывает. Таким образом выехал и Гантамуров. Не прошло и полчаса, как его принесли без чувств, и он был весь в крови, но, благодаря своему здоровью, скоро очнулся, впрочем, долго потом хворал.
Признаюсь, у меня замирало сердце садиться в экипаж с такими лошадьми, имея на руках двух маленьких детей. Между тем делать было нечего и приходилось покоряться необходимости. Там иначе не умеют ездить!

